

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Станислав КУНЯЕВ

МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

— Из языка нынешних политиков исчезло простое и древнее слово «народ». Они брезгают этим словом, стесняются и не любят его.

— Но я бы предостерег вольных или невольных провокаторов от истошных криков о «русском фашизме». Все это уже было в нашей истории. И не только в 1988—1991 годах, но и гораздо раньше.

— Одно нас оправдывает: защищаем от лжи и клеветы не самих себя, грешных, а историю России, ее призвание, ее веру, ее великого сына —
Александра Сергеевича Пушкина.

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству».

А. С. Пушкин

Станислав Куняев

Мои печальные победы

«Алисторус»

2007

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

Куняев С. Ю.

Мои печальные победы / С. Ю. Куняев — «Алисторус», 2007

«Мои печальные победы» – новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия». В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») – это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М. Дейча, С. Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги «Лейтенанты и маркитанты», в центре которой поэт Д. Самойлов и его современники по учебе в Институте Философии, Литературы, Истории... Однако автору пришлось защищать нашу великую историю, и заодно, честное имя своего друга, выдающегося русского мыслителя Вадима Валериановича Кожинова (а также и свою честь) не только от русофобов и диссидентов, но и от глумливых измышлений соратников по патриотическому лагерю: Ильи Глазунова, Владимира Бушина, Татьяны Глушковой, Валентина Сорокина... Отношениям с каждым из них посвящены отдельные главы книги. В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским, и речь о русофобии произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе... Завершается книга главой «Пушкин – наш современник», в которой дерзко, но убедительно доказана связь пушкинского журнала «Современник» – с самым популярным журналом сегодняшней эпохи «Наш современник», которым вот уже 17 лет руководит Станислав Куняев.

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

© Куняев С. Ю., 2007

© Алисторус, 2007

Содержание

I	7
Крупнозернистая жизнь	7
«Я сердцем виноват...»	7
«Дивная мистерия Вселенной»	25
«Демон и ангел России»	36
Терновый венец	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Станислав Куняев

Мои печальные победы

© Куняев С.Ю., 2007

© ООО «Алгоритм-Книга», 2007

I

Крупнозернистая жизнь

История человечества устроена так, что после любой великой революции новая молодая власть сводит с прежней эпохой безжалостные счета – политические, экономические, нравственные, культурные...

Новый порядок вещей всегда утверждается в умах и сердцах одновременно с искоренением и очернением прежнего уклада. Однако после того, как проносится девятый вал разрушения, неизбежно наступает время, когда очередным хозяевам жизни приходится кое-что брать из старого миропорядка, с чем-то примириться, что-то реставрировать... И лишь в нашей «криминальной революции» за все пятнадцать лет ее развития было вылитое на прошедшее семидесятилетие столько клеветы и лжи, было сочинено такое количество фальсификаций и подлогов, что ничего подобного во всей мировой истории припомнить невозможно. Впрочем, все понятно: чем крупнее масштабы ренегатства – тем выше градус ненависти к порядку вещей, которому ренегаты в прежние времена ревностно служили. В исторической науке этот «комплекс Талейрана» хорошо известен.

А потому некоторые особенно ценные крупинки истины о прошлом надежнее всего черпать не из сочинений нынешних историков, социологов, экономистов и прочего обслуживающего персонала, но из судеб и творчества талантливых людей, которые в советскую эпоху подвергались преследованиям, сидели в лагерях, жили в ссылках, лишались гражданских прав... Они лишний раз не похвалят время. Их слова не подольстят сильным мира сего, обесславленным ныне, они не будут выслуживаться и изменять своему призванию за чечевичную похлебку. Все, что они сказали, уже принадлежит вечности.

Я попытаюсь восстановить некоторые особенности Советской цивилизации, вглядываясь в судьбы и творчество Осипа Мандельштама (две ссылки, арест и смерть в лагере), Николая Заболоцкого (семь лет тюрем, лагерей, ссылок), Даниила Андреева (двадцать пять лет тюремного заключения, из которых отсидел десять), Ярослава Смелякова – трижды судимого по политическим статьям. Все они выдающиеся поэты сталинской эпохи, а ведь Ярослав Смеляков как-то написал: «Ежели поэты врут – больше жить не можно...» Почему я выбрал их? Потому что для многих идеологов и «политтехнологов» нынешней власти, читателей, ими обманутых, и просто доверчивых наших телепотребителей ссылки на имена Твардовского, Шолохова, Алексея Толстого, Максима Горького, Леонида Леонова мало что значат. В их глазах они, в лучшем случае, всего лишь навсего талантливые «слуги режима». А нам сейчас страдалец подавай, жертв политических репрессий, диссидентов... Ну что же. Поговорим о них.

«Я сердцем виноват...»

С миром державным я был лишь ребячески связан.
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлюбя,
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию, —

написал о себе Осип Мандельштам в 1931 году. И верно. Первую половину жизни бывший акмеист, баловень судьбы, инфантильный любимец Аполлона, жил в мире ветхозаветных сюжетов, царскосельских вольных забав, в мире античных теней и призраков Средневековья, в пространствах Валгаллы, развалинах Акрополя, на холмах Рима, в обществе Оссиана и Баха, Лорелеи и Персефоны. Он действительно ничем «не был обязан» державному миру, сторонился его и разве что в революционное лихолетье с 1918 по 1923 год написал несколько стихотворений, в которых присутствовал шум времени: «Сумерки свободы», «Феодосия», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «1 января 1924», стихи о Петрополе...

Настоящее гражданское возмужание пришло к нему позже, на грозном рубеже 20-х и 30-х годов. Кульминационными и роковыми мгновениями в его жизни были те, когда в 1933 году он написал и прочитал собеседникам стихотворный памфлет «Мы живем, под собою не чуя страны». Это был необратимый шаг на территорию державного мира, резко изменивший всю дальнейшую судьбу поэта, после чего связь с державным миром стала осью его творчества. Во время подневольных поездок на Урал и обратно, а потом в Воронеж, он, который раньше «на гвардейцев глядел исподлобья», цепко вглядывался в лица «славных ребят из железных ворот ГПУ», неожиданно для себя открывал, что любит «шинель красноармейской складки», и хотя с долей иронии, но понимал простую историческую истину: «чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов». Не мешает вспомнить, что эти строки были написаны в преддверии столетия со дня гибели Пушкина, которое вскоре прокатилось по стране как государственно-всенародные торжества, как чудесное освобождение поэта от идеологического, русофобского глумления с классовых позиций, длившееся над ним почти два десятилетия. И, конечно же, Мандельштам был признателен сталинской эпохе за это.

Неведомые дотоле картины жизни открывались ему во время его невольных путешествий на Каму, через Чердынь, Соликамск, Свердловск под присмотром «славных ребят». Вот как рассказывает об этом Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях:

«Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О. М. не отрываясь смотрел в осень всю ночь напролет... Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишящих народом вокзалах...»

«В дорогу я захватила томик Пушкина, и О. Э. читал «Цыган» вслух своим конвоирам».

«В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими».

В сущности поэт, дитя дореволюционного Петербурга и нэповской Москвы, лишь в середине 30-х годов впервые увидел просторы глубинной России и услышал шум взбаламученного людского моря раскулаченных крестьян и подневольных переселенцев.

Нет худа без добра. Благодаря массе лишений, высыпавшихся на него словно из ящика Пандоры, он наконец-то познал внезапно явленный ему облик Родины, ее мощь и бесконечность, с ужасом и восторгом вгляделся в разливы великих рек, «подобные морям», в «хвойное мясо» лесов, отражающихся в водах Камы... И самое главное – в лицо простонародья:

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

С начала 30-х годов Мандельштам осознает, что наступило особое время, когда история сгущается, когда в недели и месяцы совершается столько событий, сколько в иные времена не совершалось за десятилетия. Это осознание – случайно или закономерно – совпало со знаменитыми словами Сталина, сказанными им в 1931 году: «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

В то же время Осип Эмильевич «почти по-маяковски» определил свою новую сверхзадачу. Он уже далеко ушел от своих прежних убеждений, выраженных в словах: «Нет, никогда ничей я не был современник». Как бы возражая «прежнему» Мандельштаму, поэт в 1931 году пишет:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам: себе свернете шею.

Последний раз в 1931 году поэт иронически-печально попрощался с прошлой жизнью, с «военными астрами», с «барской шубой», с «маслом парижских картин» и «рыжей спесью англичанок», отряхнул со своих ног остатки акмеистической пыли и шагнул навстречу грозной судьбе, чтобы чувствовать себя не попутчиком, не небожителем, а летописцем эпохи и даже соучастником стремительного хода истории. Любимым его словом в стихах становится эпитет «крупный» и его разнообразные синонимы – «да будет жизнь крупна», «для укрупненных губ, для укрепленной ласки», «и вы, часов кремлевские бои, – язык пространства, сжатого до точки», «и не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромен».

Укрупнение жизни для поэтов эпохи строительства советской цивилизации, поиски «крупнозернистого добра» были общей целью, к которой каждый из них шел по-своему.

Я стал не большим, а огромным,
попробуй тягаться со мной,
как башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Это Ярослав Смеляков, остро чувствовавший непомерную тяжесть строительства башен Терпения.

Для Бориса Пастернака величие социализма олицетворялось в эпически-былинном образе Сталина, и то, что стихи о нем были написаны и напечатаны в 1936 году (после ареста и ссылки Мандельштама!), лишний раз свидетельствует о фанатичной вере поэта в величие вождя:

А в те же дни на расстоянье,
За древней каменной стеной,
Живет не человек – деянье,

Поступок ростом в шар земной.

В поисках Мандельштама не было самоуверенной гордыни, свойственной Пастернаку, ощущавшему себя одним из полюсов «двухголосной фуги», вторым полюсом был «гений поступка» – человек, живший за стенами Кремля. Он с большей осторожностью, нежели Пастернак и Смеляков, искал свое скромное место летописца в «буднях великих строек». Спрашивал сам себя, размышлял, сомневался:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословию
И клятвы, крупные до слез?

(Поскольку стихотворение написано в морозные дни 1924 года, иные историки считают, что речь идет о сталинской клятве над гробом Ленина.)

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать – для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал?

Поэту, вышедшему из семьи еврея-торговца, естественнее всего было представлять себя как разночинца, человека четвертого сословия. Хотя до революции он был одним из любимцев дореволюционной поэтической богемы, это не помешало ему, а скорее помогло принять как должное аскетический быт времен гражданской войны, коллективизации, карточной системы и коммуналок.

Он, конечно, знал стихи Пастернака о Сталине, написанные в 1935 году:

Я понял: все живо.
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.

Жизнь без наживы! Подобное состояние для Осипа Эмильевича, порвавшего еще в юности с «хаосом иудейским», с культом золотого тельца, ушедшего в русскую бескорыстную литературную жизнь, было вполне естественным. Дальше естественность продолжалась сама собой: безбытные скитания по пространствам Гражданской войны, поиски казенного или съемного жилья, корзина с немудреным скарбом, пачка папирос да стопка писчей бумаги на столе, крепкий чай да томик Данта под рукой – вот и все, чем без ропота довольствовался этот пролетарий умственного труда.

Да и все его знаменитые собраты были такими же, вспомним хотя бы Есенина:

Да, богат я. Богат с излишком —
Был цилиндр, а теперь его нет,
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

А Марина Цветаева, черпавшая из своей бедности целые пригоршни вдохновения:

И за сим, упредив заранее,
Что меж мной и тобою – мили!
Что себя причисляю к рвани,
Что честно мое место в мире...

Она открыто объявляла, что «любит богатых» за «растерянную повадку из кармана и вновь к карману», «и за то, что их в рай не впустят, и за то, что в глаза не смотрят», и еще «за какой-то их взгляд собачий»...

А Владимир Маяковский, которому, хотя он и зарабатывал хорошие гонорары для содержания бриковской компашки, на деле была нужна лишь коммунальная комнатуха в Лубянской проезде, его рабочий угол, где он смежил очи и где написал:

Мне и рубля
не накопили строчки,
Краснодеревщики
не слали мебель на дом,
И кроме
свежевымытой сорочки,
Скажу по совести —
мне ничего не надо.

«Жизнь без наживы», русско-советское бессребреничество были по душе Мандельштаму. За небольшими исключениями, без которых история не обходится, это был общий стиль эпохи, в которой даже люди высшей власти довольствовались аскетическим бытом.

«Квартиры, в которые вожди революции въехали после того, как советское правительство переехало из Петрограда в Москву, были довольно невзрачные, с низкими потолками, маленькими комнатами, обставленные старой мебелью, оставшейся еще от дореволюционных времен. Тогда эти квартиры занимала прислуга, поддерживавшая на должном уровне царские апартаменты в Кремле» (*Из воспоминаний личного переводчика Сталина В.Березкова*).

Или еще один отрывок из той же книги, чтобы сравнить обеды высшей советской знати на даче у вождя с нынешними фуршетами и презентациями: «Обед был очень простой. На первое густой украинский борщ, на второе хорошо приготовленная гречневая каша и много отварного мяса. На третье компот и фрукты».

И это на приеме у владыки полумира! Что же было говорить о бедных поэтах!

«За стеной обиженный хозяин ходит – бродит в русских сапогах», – сказано поэтом о воронежском съемном жилье, где рядом «нищенка подруга», где приходится спать, «укрывшись рыбьим мехом», а потому, когда тебе предлагают съехать, – «завязать корзину до зари»...

Ничего своего – «полночный ключик от чужой квартиры», выходя из которой ты можешь «в роскошной бедности, в могучей нищете» утешаться «величием равнин и мглой, и холодом, и выюгой...».

Но ведь в подобной же безбытности в то время жили и Анна Ахматова, и Павел Васильев, и Ярослав Смеляков, и Николай Клюев. Однако сознание того, что он живет во времена «сотворения» нового мира, для Мандельштама искупало все неудобства и несурезицы жизни. Знаменитые в то время слова Пастернака:

Напрасно в дни Великого Совета,
Где высшей страсти отданы места, —
Оставлена вакансия поэта.
Она опасна, если не пуста —

не были истиной для Осипа Эмилевича. Да, вакансия опасна. Но пустой – быть не может. Какой соблазн стать летописцем «дней Великого Совета», «крупнозернистой жизни», «большого стиля»! Он, в отличие от поверхностно-революционного Бориса Леонидовича, был человеком глубокой культуры и в 30-е годы с «лихорадочной радостью» ищет и находит сходство великих цивилизаций с цивилизацией, возникающей у него на глазах. Потому-то в его стихах возникают образы Гомера, Эсхила, Софокла, Данте, Ариосто. У каждой великой эпохи был свой великий летописец, и кто знает, может быть, именно ему подарит судьба счастье стать в их ряд! Жизнь обретала смысл. Лишь бы убедиться в громадности всего, что происходит вокруг, в подлинности того, что поэт называет «укрупнением» жизни:

Я хочу, чтоб мыслящее тело,
Превратилось в улицу, в страну.

Такими гиперболами, модными разве что в первые годы революции – вспомним хотя бы «150 000 000» Маяковского, – в 30-е годы не распоряжался никто. И даже звуковой символ любой тогдашней стройки – гудок, заводской ли, паровозный, воспринимается поэтом как нечто мифологическое, былинное, как трубный глас, не просто призывающий идти на работу, но утверждающий вершину тысячелетней истории страны:

Гудок за власть ночных трудов
Садко заводов и садов,
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

(Декабрь 1936)

А средняя по русским меркам Воронежская область в мандельштамовской «системе укрупнения» жизни становится чуть ли не материком, расположенным в центре мира:

Эта область в темноводье,

Хляби хлеба, гроз ведро
Не дворянское угодье —
Океанское ядро.
Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож...

Но не только «рисунок» Воронежской области полюбил в те годы опальный, ссыльный поэт.

Известный литературовед Михаил Гаспаров, вместе с которым я поступал на филфак МГУ еще в сталинское время (1952 г.), опубликовал в 1996 году работу: «О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года». В ней мой однокашник, кстати, человек весьма либеральных взглядов, добросовестно изучил «сталинские» стихи поэта, написанные с 1935 по 1937 год, буквально «осязая» движение его мысли, и сделал честный вывод, что «ни приспособленчества, ни насилия над собой в этом движении нет».

Да, в стихотворении 1933 года, когда голод, как следствие принудительной коллективизации, опустошал черноземные области страны, Мандельштам писал:

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...

В то же время или даже раньше Шолохов шлет в Кремль Сталину страшные письма о гибели крестьян, и Сталин вынужден принимать меры, распоряжаться, чтобы в голодающие села и станицы было отправлено из государственных запасов зерно.

Но через два года, в июле 1935-го, Мандельштам уже пишет в письме отцу:

«...Вместе с группой делегатов и редактором областной газеты я ездил за 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра. Предстоит еще поездка в большой колхоз...» Совсем иные чувства, иные картины.

О вышеупомянутой поездке так рассказывает в письме от 31.7.1935 г. знакомый поэта С. Б. Рудаков: «Осип был весел. Там было так... Осип пленил партийное руководство и имел лошадей и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60 – 100... Знакомиться с делом... А фактически это может быть материал для новых «Черноземов» (стихотворение, написанное в апреле 1935 г. – *См. К.*). Говорит: «Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) – целый Техас... Люди слабые, а дело делают большое – настоящее искусство, как мое со стихами. Там все так работают». О яслях рассказывает, о колхозниках... Факт тот, что он... видел колхоз и его воспринял... как ребенок, мечтает поехать еще туда». (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 год. СПб., 1997, с. 78, 79).

Когда в советской деревне разрушение жизни сменилось созиданием, изменилось и отношение поэта к Сталину. Михаил Гаспаров честно и точно комментирует смысл знаменитой мандельштамовской «Оды» 1937 года, сравнивая ее с памфлетом «Мы живем, под собою не чуя страны...», написанным четырьмя годами ранее:

«В середине «Оды»... соприкасаются прошлое и будущее – в словах «Он свесился с трибуны, как с горы. В ряды голов. Должник сильнее иска». Площадь, форум с трибуной... Это не только площадь демонстраций, но и площадь суда. Иск к Сталину предъявляет прошлое за то злое, что было в революции и после нее (в том числе и за коллективизацию. – *См. К.*). Сталин пересиливает это светлым настоящим и будущим... Решение на этом суде выносит народ... В

памятной эпиграмме против Сталина поэт выступил обвинителем от прошлого – по народному приговору он неправ...» (из работы М. Гаспарова, с. 94).

Жизнь, преодолевшая страшные раны коллективизации, налаживалась на глазах.

Уже в 1931 году ЦИК СССР начал возвращать избирательные права «лишенцам» – сократив их число до двух с небольшим миллионов человек (2,5% от численности взрослого населения). А летом 1936 года все они были восстановлены в политических правах, так же, как и 768 тысяч человек, репрессированных по закону от 7 августа 1932 года, известному как «закон о трех колосках».

30 декабря 1935 года «Известия» опубликовали постановление правительства «О приеме в высшие учебные заведения и техникумы», отменявшее все ограничения, связанные с социальным происхождением лиц, желающих получить образование.

А 21 апреля 1936 года власть отменила свои предыдущие постановления, ущемляющие казачество, восстановила казачьи части, с их традиционной формой, с правом на воинскую службу. В том же году было разрешено свободное проживание по всей стране многих тысяч людей, высланных из Ленинграда в связи с убийством Кирова, осенью 1936 года страна рассталась с карточной системой. С 1 октября была узаконена свободная продажа мяса, масла, рыбы, сахара, овощей. Страна готовилась принимать Сталинскую конституцию, в которой предполагалось нечто неслыханное: «... избирательные списки на выборах будет выставять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации... Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти» (из интервью И. Сталина американскому журналисту Рою Уилсону от 1 марта 1936 г.).

(К сожалению, из-за мощнейшего сопротивления партийной бюрократии на местах эти планы Сталину осуществить не удалось.)

Все, к чему в это время прикасался поэт, выростало как на дрожжах, обретало титанические объемы, входило всей громадой в историю:

«Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах», «На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту. И речная верста поднялась в высоту», «Ты наслаждаешься величием равнин», «И плывет углами неба восхитительная мощь», «К ноге моей привязан сосновый, синий бор», «Дрожжи мира дорогие: звуки, слезы и труды», «В роскошной бедности, в могучей нищете» и т. д.

Изгнание и нищета не властны над жизнью духа, если речь идет об эпическом зрении, которым поэт видит «горловой Урал», «плечистое Поволжье». В это же время кинематографический эпос социализма – «Чапаев» становится любимым фильмом Иосифа Мандельштама и Иосифа Сталина.

Поэт счастлив во время грандиозных сталинских демонстраций созерцать в XX веке на Красной площади картины величия, присущие легендарным временам Богов и Героев:

Я сердцем виноват – я сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.
Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

(11.2.1937 г.)

Не колонны «винтиков», механически марширующих по воле диктатора, видит он во время парада на Красной площади, но «бесчисленных друзей», участвующих в жизни более значительной, нежели жизнь Акрополя, Агоры, античного хора.

И, конечно же, вершиной этих поисков «укрупнения» жизни у Мандельштама явились стихи, прямо и открыто обращенные уже не к «кремлевскому душегубу и мужикоборцу», не к казньелюбивому «осетину», но к вождю, достойному того, чтобы о нем говорили губы Гомера, Софокла или Эсхила.

* * *

Ахиллесовой пятой всех профессиональных мандельштамоведов был и остается мистический страх перед тем фактом, что поэт был предельно искренен во всех своих стихах о советской эпохе, об укрупняющемся времени, о Сталине.

Им легче признать его двурушником, приспособленцем, спасавшим себя, в лучшем случае «умопомраченным» человеком, творившим в атмосфере своеобразного самогипноза и самообмана. Ну и, конечно, одновременно с такого рода рассуждениями мандельштамоведы усиленно занимаются мифологизацией Сталина.

«Если что Сталин умел в совершенстве, так это мстить – выжидать для мести удобного часа», – пишет во вступлении к двухтомнику поэта Сергей Аверинцев и продолжает: «Мандельштам, какими бы противоречивыми ни были к этому времени его, может быть, уже не всегда вменяемые мысли, – должен был причинить себе при работе над «Одой» немалое насилие». «Работа над «Одой» не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения». (Выводы М. Гаспарова совершенно противоположны мыслям Аверинцева).

Б. Сарнов, пытаясь мыслить одновременно и за вождя, и за поэта, рассуждает как врач-психиатр из Института им. Сербского: «Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он (Сталин. – *См. К.*) решил до поры до времени его не убивать... Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина».

Как будто Сталин только и был озабочен тем, чтобы его прославляли поэты и писатели, а не созданием армии и строительством Кузбасса, не авиацией и железными дорогами, не дипломатической борьбой и заботами о том, как отвести от страны приближающуюся войну.

Но какое до этого дело Льву Колодному, который в книге «Поэты и вожди» изображает Мандельштама заурядным ремесленником-стихоплетом:

«Мандельштам написал хвалебные стихи о Сталине в 1937 году, когда пришел конец ссылки, надеясь, очевидно, таким образом доказать, что он не «враг народа». Он пытался зарифмовать с огромными усилиями то, что, не уставая, твердила пропаганда: о сталинской клятве, побегах Сталина из ссылки, о том, что Сталин – это Ленин сегодня».

Ссылаясь на какое-то зарубежное издание поэта, Колодный, цитируя последнюю строку стихотворения «Если б меня наши враги взяли...», – совершает в сущности подлог и взамен подлинного текста: «будет будить разум и жизнь Сталин» – цитирует «губить».

Да и вообще, все разговоры о личной патологической мстительности Сталина – смердящий миф. Вождь жестоко относился лишь к тем, кто посягал на его Дело, на его государство, на его цивилизацию, а не на его личное имя или на его честь... Он был жесток к близким людям своей семьи, если они не понимали грандиозности его Дела и мешали осуществлять его: к жене Надежде Аллилуевой, к сыну Василию, которого много раз наказывал, осаживал, ставил на место. А его знаменитый ответ: «Я солдат на фельдмаршалов не меняю» относительно судьбы сына Якова, находившегося в немецком плену? Разве это не говорит о почти полном отсутствии в натуре Сталина личного, кровного, естественного для большинства людей эгоизма?

Вспомним, какое наказание в разгар войны получил Алексей Каплер, киносценарист, сорокалетний одесский «дон Жуан», соблазнивший школьницу, шестнадцатилетнюю любимую дочь Сталина. Сначала сотрудники НКВД предлагали ему прекратить волочиться за Светла-

ной, уехать из Москвы, но Каплер демонстративно играл с огнем, покамест Сталин не приехал к дочери, когда она «собиралась в школу», потребовал письма ее соблазнителя, а в ответ на то, что она Каплера любит, как всякий отец, вышел из себя, дал ей пощечину и закричал: «Ты бы посмотрела на себя – кому ты нужна?! У него кругом бабы, дура». Вечером, когда Светлана вернулась из школы, она увидела, что отец ищет в ее бумагах письма и фотографии Каплера и рвет их. Да, несчастный отец жестоко обошелся с дочерью, но как он, грузин, восточный человек, аскет, владыка полумира, поступил с негодяем-соблазнителем? Да ему стоило пальцем бы пошевелить, чтобы того сгноили, в порошок стерли. Однако дело было не государственное, а его, Сталина, личное, и человек, опозоривший его семью, посягнувший на честь его фамилии, отделался легким испугом. Не забудем и то обстоятельство, что эта история произошла во время Сталинградской битвы, когда все существо Сталина было занято одним – как устоять... Поистине, наверное, именно тогда, по словам Вертинского, – «над разорванной картой России поседела его голова»... А тут еще Каплер...

Вот что пишет в своих воспоминаниях Валерий Фрид, киношник, который несколько лет был в заключении вместе с Каплером в приполярном лагере:

«О своем деле Алексей Яковлевич рассказывал не очень охотно... Сначала он попал в Воркуту. Воркутинское начальство встретило новоприбывшего уважительно: срок и статья были по сравнению с другими пустяковыми, а кто такой Каплер, лауреат Сталинской премии, орденоседец, автор сценариев прогремевших фильмов, знали все. В первые же дни его сделали бесконвойным, предложили походить, присмотреться и, может быть, написать о горняках Заполярья. Алексей Яковлевич походил, осмотрелся и, собравшись с духом, объявил, что писать не будет: о лагере рассказать не позволят, а написать о Воркуте, как писали о Комсомольске-на-Амуре, что построили город исключительно энтузиасты-добровольцы, совесть не позволяет.

К удивлению Каплера, начальник Воркутлага отнесся к его объяснению с пониманием...»

Кстати, уязвленный отец потом прилагал немало усилий, чтобы устроить семейную жизнь своей дочери, выдал ее за сына Жданова, но она уже была поражена своеобразным «вирусом порчи» и продолжала светскую жизнь в мужском кругу друзей Алексея Каплера. Кстати, туда же входил и молодой поэт Давид Самойлов, который однажды прочитал мне несколько стихотворений, объединенных одним женским именем:

«А эту зиму звали Анной, она была прекрасней всех»; и далее «выросли деревья, смолкли речи, отгремели времена, но опять прошу я издалече: «Анна! Защити меня»; «Как тебе живется, королева Анна, в той земле, во Франции чужой? Неужели от родного стана отлепилась ты душой? Как живется, Анна Ярославна, в теплых странах, а у нас зима...».

Когда я вопросительно поглядел на него, маленький красноносый Дезик, похожий на клоуна, блудливой улыбкой уточнил, кому стихотворение посвящено:

– Светлане Сталиной...

Дочь Сталина в это время жила в Индии.

Именно тогда я понял, как эти немолодые сердцееды, соблазняя некрасивую, рыженькую дочку вождя, подхихикивали над ним, радуясь бессилию всемогущего человека. Наверное, они думали, что он из-за любви к дочери не посмеет взбунтоваться и поневоле смирится с унижением. Но они плохо знали Сталина...

* * *

Об этом предельно искреннем стихотворении Мандельштама его апологеты вспоминать не любят.

Средь народного шума и сбега,

На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинает взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь, влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданье у мощной реки.

Вздыбленное народное море, разбуженное пространство, историческая мощь... И даже игра в грамматические, школярские спряжения глагола нужна поэту, чтобы вписать себя в мир, где «я», «ты», «он», «она» живут, как в детской считалке, и рифмуются со страной – «вместе целая страна».

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба.

Это воспоминание о путешествии в ссылку на Чердынь, на Каму... Меня самого как раз в эти годы бабушка везла из Калуги в Пермь к отцу с матерью. Когда я вырос, бабушка рассказывала мне, какие толпы народа в те времена штурмовали вокзалы и пристани, заполняли палубы пароходов, где на одной из них моя Дарья Захаровна с трехлетним внуком на руках устроилась возле бака с кипяченой водой и кружкой на цепочке, которые, может быть, и запомнил поэт: «Тот с водой кипяченой бак, на цепочке кружка-жестянка». Может статься, что и он тогда с женой и двумя чекистами находился на той же палубе. Впрочем, нет. Он, как особый пассажир, был в каюте, потому что

Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...

А со стены каюты на него смотрел человек, выполнявший волю истории, направляющий потоки народных масс, которые несли как щепку сухонького немолодого поэта:

И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журба.

За что же журил вождь своего подневольного поэта? За то, что тот три года тому назад написал легкомысленную хулу на него, да что там на него лично – на его Дело. За то, что выкрикнул, как бедный чудака Евгений: «Добро, строитель чудотворный. Ужо тебе...» За то, что по-мальчишески безрассудно и тщеславно попытался осудить в 1933 году строительство нового мира... Находясь в каюте под «журбой» всевидящих глаз, поэт искренне, наивно и косноязычно перечислял доказательства своего участия в жизни страны:

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чашах,
И в товарищах городах...

Грешно иронизировать над этим простодушием, как и над тем, что в поистине сказочном финале стихотворения гордец Мандельштам («нрава он был не лилейного»), смилив свою иудейскую жестоковийность, приносит покаяние вождю, которого он ради красного словца не то чтобы обидел или оскорбил, а хуже: о котором написал неправду и с которым попытался обойтись столь же легкомысленно, как несчастный Евгений с «кумиром на бронзовом коне»:

И к нему, в его сердцевину,
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

В это же время Николай Алексеевич Клюев, находившийся в колпашевской ссылке, прислал своим друзьям, писателю Иванову-Разумнику и художнику Яру-Кравченко, – каждому по одной копии – поэму «Кремль», которая хранится в частном собрании и содержание ее до сих пор неизвестно. Мы только знаем из книги воспоминаний Иванова-Разумника, что это – поэма-покаяние Клюева перед Сталиным и что заканчивается она последней строкой: «Прости иль умереть вели»... Оба поэта перед смертью успели повиниться перед вождем.

* * *

Когда Осип Мандельштам написал памфлет о Сталине, Пастернак в отчаянье произнес слова, которые одесский писатель Аркадий Львов, ныне живущий в Америке, комментирует в книге «Желтое и черное» так:

«Борис Леонидович трепетал за свою жизнь, как трепетал на Руси всякий еврей, черт его знает, чего может ударить в голову православному человеку, но чего бы ни ударило – под Сталиным погрому не быть! А к тому и другое: при каком царе на Руси были евреям так открыты двери? А к тому и третье: кто с января того же тридцать третьего года забрал власть над Германией? Гитлер забрал. Вот и вышел от Бориса Леонидовича вопрос Осипу Эмильевичу: «Как мог он написать эти строки – ведь он еврей!».

Пастернак со Львовым правы, когда речь идет о «дверях», «открытых евреям» в 30-е годы.

Еврейское засилье во всех сферах жизни 20-х и 30-х годов доходило до трагического абсурда. Изнеженный наш литературовед, абсолютный шабесгой, женатый на еврейке, Петр Алексеевич Николаев, со скучнейших лекций которого в начале 50-х годов мы сбегали из Коммунистической аудитории МГУ на Моховой, в книге «Поэтический пантеон победной войны» (М., 2005) так пишет об этом историческом феномене:

«Известно, что в 1920 – 1930-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жен с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалева) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она свое девичье имя Дарья сменила на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит

свое русское имя. И вдруг однажды все переменялось (может быть, дружба с Гитлером и одинаковые эстетические вкусы: в окружении Гитлера и Сталина писали одинаково – как под копирку – статьи о социалистическом реализме), вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы в общественном сознании стало внедряться сверху, разумеется от вождя, антисемитское воззрение на мир».

Здесь все смешно: и то, что книжка, составленная Николаевым, вышла в издательстве «Русский импульс»; и то, что не просто «статьи», а книги, тома о социалистическом реализме в 50 – 60-е годы сам Петр Алексеевич пек, как блины; и то, что он сокрушается: почему *«вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы»* (! – *Ст. К.*) наступила эпоха борьбы с космополитизмом, ликвидации еврейского антифашистского комитета, «дела врачей». Мордвин П. Николаев не понимал, что в России «поклонение всему еврейскому» не может длиться вечно, и что рано или поздно история все поставит на свои места. Кстати этот бесталанный филолог, не написавший ни одной яркой и своеобразной книги, обслуживавший самым примитивным образом идеологию (до сих пор помню его злую и убогую статью о Михаиле Лобанове в «Литературной газете» начала 80-х годов, развивавшую русофобские положения яковлевской работы «Против антиисторизма») сделал немислимую карьеру: он стал заслуженным профессором МГУ, вошел в состав Российской академии наук, стал вице-президентом Российской академии словесности и вице-президентом Международной ассоциации профессоров. А в 29 лет, еще при жизни Сталина, уже был председателем сценарной коллегии Министерства кинематографии. Ну как тут не вспомнить, что «важнейшим из искусств у нас является кино» и что женой Пети Николаева была Ирина Иосифовна, которой совсем не надо было притворяться еврейкой, как это делала русская жена министра путей сообщения Ковалева.

Весной 2003 года я выступал в одном из ленинградских залов. После выступления ко мне подошла женщина и протянула письмо с фотографией. В письме я прочитал:

«Передаю Вам ксерокс фото из архива моего мужа, православного человека. В центре – его отец, директор школы, осетин, и вокруг... вы видите сами – ни одного русского учителя, ни одного русского ученика.

Это фото опровергает домыслы о дискриминации в образовании. Получали аттестаты и шли в институты, а все остальные вкалывали на стройках коммунизма.

Людмила Короева».

С фотографии на меня смотрели учителя и ученики выпускного десятого класса 11-й средней школы Василеостровского района – 1939 год...

Из восьми преподавателей действительно лишь один директор был осетином – все остальные семеро: Шницер, Розенблюм, Розенблат, Ленский, Михайловская, Домнич – были соплеменниками Пастернака.

Из двадцати четырех учеников лишь одна (!) круглолицая девочка носила русскую фамилию – Болотина. Остальные 23 были: Хейфиц, Нейштадт, Рывкин, Штерн, Гуревич, Вейсман, Рохлин и т. д. Всех перечислять не буду. Фотография сделана после 1937 года, якобы сломавшего еврейскую власть над русским народом, по мнению многих историков. Эту фотографию я передам в музей холокоста, если он когда-нибудь будет создан в России на деньги Березовского или Абрамовича.

Через несколько лет Мандельштам, знавший отзыв Пастернака о своем неумном стихотворении, своеобразно, но все-таки повинился перед будущим спасителем еврейства от окончательного холокоста, написав стихи о двух европейских диктаторах:

Я должен жить, дыша и большевая,
Работать речь, не слушаясь – сам друг, —
Я слышу в Арктике машин советских стук.

Я помню все – немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

1935

Это – о настоящем антисемите Гитлере. А еще через два года о Муссолини:

И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

Но советское общество середины 30-х годов еще не было монолитным, и трещина проходила на скрытой от глаз глубине. Многие «интеллигенты» эпохи готовы были на союз с кем угодно – с Троцким, с Пилсудским, с Гитлером – лишь бы не со Сталиным.

Я приведу несколько высказываний Анны Берзинь, жены известного писателя Бруно Ясенского, из «дела», которое мне удалось прочитать на Лубянке в 1990 году во время работы над книгой о Сергее Есенине.

«Нет, уж лучше открыть фронт фашистам, чем воевать»; «я воспринимаю эту власть как совершенно мне чуждую. Сознаюсь, что я даже злорадствую, когда слышу, что где-то плохо, что того или другого нет... Теперь мне воевать не для чего и не за что». «В свое время, в гражданскую войну, я была на фронте и воевала не хуже других. За существующий режим воевать? Нет уж, лучше открыть фронт фашистам»; «мы сами, это мы сами во всем виноваты. Это мы расстреляли наших друзей и наиболее видных людей в стране. В правительстве подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь – «мы русский народ». Все это пахнет черносотенством...».

Вот такие настроения перед войной были у части нашей творческой интеллигенции. В своей безумной «революционной», «интернациональной» гордыне она как черт от ладана шарахалась от единственно спасительного пути – ставки на русский патриотизм, сделанной Сталиным уже за четыре года до начала Великой Отечественной.

И Мандельштам в этом выборе был с вождем, а не с Берзинь, которая, впрочем, вполне могла восхищаться его стихами 1933 года о «мужикоборце»...

* * *

А между тем страна стремительно втягивалась в очередной виток политической борьбы, насыщенной арестами, митингами, открытыми и закрытыми политическими процессами, индивидуальными и массовыми репрессиями. Сталин решил окончательно и бесповоротно расправиться с явными и скрытыми сторонниками Троцкого, со всеми оппозиционерами, подобными Анне Берзинь, с противниками его плана строительства монолитного общества и могучего государства в преддверии неизбежной войны.

19 – 24 августа 1936 года страну потрясло «дело» «объединенного троцкистско-зиновьевского центра», 23 – 30 января 1937 года прошел процесс «параллельного» антисоветского троцкистского центра, 23 – 27 февраля последовал пленум ЦК ВКП(б), на котором рассматривались дела Рыкова и Бухарина.

Май – июнь 1937-го – «дело» о «заговоре военных» во главе с маршалом Тухачевским. И, наконец, это полуторагодовое землетрясение закончилось в марте 1938 года, когда в политическое небытие ушли Бухарин, Рыков, Радек.

Полтора года шло искоренение антисталинского крыла партийно-государственного и военного руководства, известнейшие люди страны исключались из партии, снимались с должностей, отдавались в руки прокуроров и судей. Рабочие собрания требовали кары для врагов народа, на улицах больших городов шумели демонстрации с призывами правосудия и расправы. Страницы газет выходили с заголовками: «Расстрелять убийц», «Врагов народа к ответу», «Стереть с лица земли», «К высшей мере!».

Писатели, знакомые и друзья Мандельштама – Шкловский, Катаев, Безыменский, Инбер, Олеша, Зощенко, Антокольский и другие (в большинстве своем евреи) подписывали письма с требованиями расстреливать двурушников.

А что же в это время делал Мандельштам, находившийся в воронежской ссылке и не имевший никаких гражданских прав, кроме права писать стихи? В самый пик накала идеологической и репрессивной температуры – зимой и ранней весной 1937 года – он чувствовал такой небывалый прилив творческих сил, что поневоле начинаешь думать о тайной глубинной связи эпохи Большого Террора с окончательным утверждением в поэзии Мандельштама Большого Стиля.

Январь – июнь 1937 года – решается судьба Бухарина, Радека, Пятакова, Сокольникова, Рыкова, Тухачевского, Корка, Якира, Примакова, а Мандельштам пишет, пишет и пишет стихи о расширяющемся времени, об укрупнении жизни, об уплотнении пространства, о своей неимоверно быстро крепнущей связи с эпохой. Он не извлекает из этого творчества никакой выгоды, никуда не посылает стихи – ни в газеты, ни друзьям-поэтам, ни в Кремль, пишет в стол – то есть его творчество в это время лишено всякого прагматического смысла, всякой корысти... Он просто уясняет сам для себя свое понимание жизни, с возможной надеждой, что все написанное им в это роковое время когда-нибудь прочитают в будущем. Именно в знаменитом 1937 году он писал так вдохновенно, как никогда. В декабре 1936 года – шестнадцать стихотворений, в январе 1937-го – пятнадцать, в феврале – двенадцать, в марте – пятнадцать. Пятьдесят восемь стихотворений за четыре месяца! В иные дни по два-три стихотворения. И почти все стихи излучают не просто согласие с временем, но даже восхищение им...

21 – 22 января 37-го года он зовет на помощь в работе «по укрупнению жизни» своего любимого Данта:

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Бытовые неурядицы не помеха для творчества в эпоху борьбы Сталина и Троцкого, гвельфов и гибеллинов. Если уж Дант мог говорить с «черствых лестниц» о новой жизни, то эти строки о нем были написаны через несколько дней после того, как поэт поставил молодые воронежские холмы рядом с легендарными холмами Тосканы. Голос Данта, слышимый «с площадей с угловатыми дворцами», перекликается в стихах с его голосом, несущимся из центра Третьего Рима с площади, где «круглей всего земля», простирающаяся «вниз до рисовых полей», «покуда на земле последний жив невольник». «Я обведу глазами площадь всей – всей этой площади с ее знамен лесами». Может быть, это описание народного шествия, требующего расправы с врагами социализма?

А почему бы нет? Разве поэт через несколько дней, после сообщения о расстреле Тухачевского и его соратников, не написал:

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, вращать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

И далее о том, что всем патриотам страны должно спланиваться в трудное время вокруг
вождя:

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

В воспоминаниях М. Чудаковой о встречах с вдовой Михаила Булгакова Еленой Сергеевной есть важные свидетельства того, что взгляды Булгакова и Мандельштама на события 1937 года были очень близки: «У него (Булгакова. – *Ст. К.*) было ощущение возмездия от этих арестов?

– Да, не скрою от вас, было! Он открывал газету и видел там имена своих врагов... Все эти люди – они же травили его!» Там же приведена запись Е. С. Булгаковой из дневника от 23.4.1937 г.: «Да, пришло возмездие. В газетах очень много дурного о Киршоне и об Афиногенове...» Фамилий Булгакова и Мандельштама нет под письмами, требующими кары, расстрела, наказания, о «сталинистских» стихах поэта никто не знает, они не напечатаны, но написаны «в стол», а потому их искренность – неопровержима в своем бескорыстии.

Словно бы бросая вызов робким душам, не знающим, куда деться от «грозных площадей» с «лесами знамен», Осип Мандельштам мужественно сравнивает трагедию своего времени, разыгрываемую в театре, не уступающем античному, с трагедиями великих греков:

Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

(12 янв. – 4 февр. 1937 г.)

Он видит в этом театре искры бессмертия и глубоко запрятанный под покровами обоюдного политического словоблудия трагический смысл происходящего на мировой арене, коей в те времена стали московские суды и партийные пленумы. Вышинский говорит одно, Бухарин – другое, а Мандельштам, косноязычно бормоча, облачает в слова-символы свои прозрения:

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны
И брони боевой – и бровь и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

(Пророческие догадки о будущей войне и победе! – *См. К.*)

Все звонки Сталина Пастернаку (с разговором о Мандельштаме), Булгакову были отчаянной и рискованной попыткой объединить общество перед неизбежной войной «хоть лаской, хоть таской», хоть кнутом, хоть пряником. Бывший семинарист помнил ветхозаветную истину о том, что «царство, разделившееся само в себе», должно неизбежно погибнуть, и понимал, что после жесточайшей гражданской войны и мучительной коллективизации какая-то часть народа может отшатнуться от власти и даже перейти на сторону врага. Создать монолитное общество по всей вертикали – задача была почти невыполнимая даже и при всей сверхчеловеческой воле и организационном гении Сталина.

* * *

Воронежскую тетрадь поэт заполнял в здравом уме и твердой памяти, в привычной для него сложной, перетекающей из одного стихотворения в другое словесной ткани, из которой он выкраивал и шил свои лучшие вещи. А коли ткань того же качества, то и социально-исторические, или социально-философские, или в конце концов социально-патетические стихи его воронежской зимы бессовестно считать поделками второго или третьего сорта, некими жеманными извинениями или неумело-льстивыми одами. Не на таких дрожжах восходил его талант. Это был человек-кремь, готовивший себя всю жизнь к жертве за свои убеждения, и подзреть его в двуличии и трусости могут только ничтожные души или мелкие политические мошенники.

Одних только стихотворений о вожде в книге воронежской зимы – целых пять. И неужто они не перевешивают легкомысленную эпиграмму 1933 года, толкованием которой вот уже несколько десятилетий питаются мандельштамоведы, в упор не замечая трогательного признания поэта: «Я сердцем виноват»? Лучше бы честно вчитались в оду, написанную с державинской силой:

Если б меня наши враги взяли
И перестали говорить со мной люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит, —
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом. —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И – в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся в даль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,

Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

(Февраль – март 1937 г.)

Обнюхивают эту глыбу и бормочут несусветное о том, что Осип Эмильевич был болен и не ведал, что творит, а потом раскаивался за неискренние стихи. Или второй вариант: Мандельштам сознательно написал хвалебные стихи тирану, чтобы избежать смерти; или же – он писал хвалебные стихи, но в них были зашифрованы слова, строки, в которых, если их разгадать, заключена ненависть и презрение к вождю народов. Словом – либо больной, либо приспособленец, либо хитрец, каких поискать.

Афанасий Фет, переводивший «Метаморфозы» Овидия, посвященные Цезарю, сделал однажды к переводам любопытный комментарий: «Смешно уверять, что такие вещи плод лести, лишенный внутреннего убеждения. Пусть любой льстец преднамеренно напишет что-нибудь подобное, и мы охотно согласимся с мнением, что люди, о личном существовании которых Цезарь никогда не узнает, сговорились из лести строить ему алтарь и заживо воздавать божеские почести. Не менее добродушна (видимо, Фет хотел, сказать «наивна». – *См. К.*) мысль, чтобы сердцевед, как Август, допустил в лицо себе такую преувеличенную лесть, если, не чувствовал себя действительно носителем всемирной римской власти» (*Овидий. XV книг превращений в переводах с объяснениями А. Фета. М., 1887. Ст. VIII.*)

Одной из особенностей поэтического мира Мандельштама является присутствие в нем слов-символов, имеющих для поэта сакральное значение. Все стержневые, «позвоночные» стихотворения Мандельштама насыщены ими, держатся на словах-опорах, воплощающих для поэта некие узловые скрещения чертежей мира. Они – словно сгустки звездного вещества («звезды-карлики»), тяжелее и плотнее которого в космосе ничего до сих пор не обнаружено: «ласточка», «роза», «соль», «изба», «мед», «солнце», «сердцевина», «шерсть», «век», «кровь», – повторяются в стихах во много раз чаще, нежели «обычные» слова. Чаще всего – это существительные, но есть и любимые прилагательные: «хищный», «сухой», «жирный», «желтый», «смелый». Комментаторы, которые толкуют «Оду» и другие стихи о Сталине как написанные ради спасения, «страха ради иудейска», просто не умеют их читать. Но наличие сакральных слов-сгустков – «клятва», «очи», «желчь», «уголь», «спелый» и т. д. – первый и основной признак того, что стихи не вымучены с прагматической целью, но рождены в состоянии подлинного вдохновения, что они обладают энергией первородства. Именно эти слова-вспышки дают стихам подъемную силу, чтобы парить в воздухе.

Мандельштам вводит в одно из стихотворений – «там, где бушлатник шершавую песню поет» – тему ссыльного человека, и когда в «Оде» мы читаем: «Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили», – то должно понять, что поэту изначально близок человек, сегодня ставший вождем, но вчера бывший таким же каторжанином, как и поэт, в «бушлате», знавший мир нищеты, жизни на чужих квартирах, мир случайных ночлегов, одиночества, радости разговора с незнакомым прохожим. Но – какое несовпадение! – Мандельштам опять поет «против шерсти мира». Сталин уже не любил, когда ему напоминали, что он Джугашвили. Не хотелось ему вспоминать на высотах своего величия о бездомной, кочевой, ссыльной жизни, в которой прошли чуть ли не двадцать лет. Обращался он к ней лишь в исключительных случаях, когда эти воспоминания нужно было бросить на чашу весов политической борьбы. Тогда он немного приоткрывался, и однажды в 1931 году сказал в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом:

«Тех товарищей, которые не уезжали за границу, конечно, гораздо больше в нашей партии и ее руководстве, чем бывших эмигрантов, и они, конечно, имели возможность принести

больше пользы для революции, чем находившиеся за границей эмигранты. ... Я знаю многих товарищей, которые прожили по 20 лет за границей, жили где-нибудь в Шарлоттенбурге или Латинском квартале, сидели в кафе годами, пили пиво и все же не сумели изучить Европу и не поняли ее».

Это сказано не только о многих соратниках Ленина, приехавших в 1917 году в Россию в «пломбированном вагоне», не только о тех, чьи фамилии через несколько лет будут знаковыми на знаменитых процессах и о ком так будет жалеть Анна Берзинь, но можно подумать, что это сказано и о самом Владимире Ильиче...

А стихи о «веке-волкодаве» – не так уж просты. Ну прежде всего поэт понимал, что волкодавы нужны для борьбы с настоящими волками, для защиты человека от волков. Поэт хочет объяснить своему веку, что «не волк он по крови своей», что не живет он по ветхозаветным кровным законам волчьего племени. Нежели жить по ним – лучше пусть уведут «в ночь, где течет Енисей»... И слова «я лишился и чаши на пире отцов» – тоже имеют особый смысл, если вспомнить моление о чаше... Все стихотворение, как развернутое моление из Евангелия – «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» – и «пронеси чашу сию мимо меня...».

Неизбежность самопожертвования и страх перед Голгофой, на которую и Христос пошел «за великое племя людей» и был обещен перед смертью грубой римской силой, спровоцированной ветхозаветной яростью фарисеев... Поэт понимал, что волкодавы нужны человеку для обороны от волков, но – и это несчастный случай: произошла роковая ошибка – век-волкодав не узнал своего поэта. За месяц до ареста в письме к Б. С. Кузину из санатория в Саматихе поэт был уверен, что он пригодится своему веку:

«Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. «Общественный ремонт здоровья», значит, от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за музыку жидущую. Во мне небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни, и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости, – но ничего, ничего, не страшно!»

Но век-волкодав обознался...

«Дивная мистерия Вселенной»

В 1948 году Заболоцкий, давно отошедший от обернутов, не любивший ни футуризма, ни акмеизма, написал стихотворение и демонстративно назвал его «Читая стихи».

Я уверен, что в нем он выразил свое отношение к поэзии Осипа Мандельштама, к его вдохновенному косноязычию, к ироническому легкомыслию, в которое нередко впадал собрат по призванию, к его «приступам жеманства» и «скомканной речи»:

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих,
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изошренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла¹,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не смогла?

Конечно же, это об Осипе Эмильевиче, много раз уподоблявшему себя щеглу – «мой щегол, я голову закину», «до чего ты щеголовит», «когда щегол в воздушной сдобе», «это мачеха Кольцова, шутишь: родина щегла». Но, несмотря на понятную для нравственного максималиста Заболоцкого неприязнь к поэзии Мандельштама, судьбы обоих поэтов во многом были похожи одна на другую.

Обоих не понимала и преследовала вульгарная рапповская и соцреалистическая критика, обоих породнила тюремная и лагерная участь, оба поэта жаждали участвовать в исполинском социальном эпосе – строительстве советской цивилизации, оба, каждый по-своему, в годы страданий нашли опору в «Слове о полку Игореве»... «Как Слово о Полку струна моя туга», – гордо вещал Осип Эмильевич из Воронежа, а Николай Алексеевич, переводивший в неволе поэму на современный стихотворный язык, писал из Караганды в письме к Н. Степанову:

«Есть в классической латыни литые, звенящие как металл строки: но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: – Какое счастье, боже мой, быть русским человеком!»

К Николаю Заболоцкому судьба была, пожалуй что, более несправедлива нежели к Мандельштаму. Он не дразнил власть, как Осип Эмильевич, не сочинял убийственных стихотворных памфлетов. Наоборот, в 1936 году Заболоцкий написал «Горийскую симфонию» – живое и вполне искреннее стихотворение, в котором воспел Грузию, ее народ и молодого юношу из Гори. И хотя различные критики-функционеры (А. Тарасенков, Е. Усиевич, О. Бескин, С. Розенталь, Д. Данин – в основном евреи) всячески пытались доказать, что его натурфилософские стихи 30-х годов враждебны социализму, ничто не предвещало внезапного его ареста в марте 1938 года. Лишь спустя много лет выяснилось, что органы НКВД задумали создать «ленинградское дело», в центре которого находился бы известный поэт Николай Тихонов, и ради этого были арестованы многие литераторы северной столицы. Из них следователи стали выбивать «показания». Обвинительное заключение Заболоцкому было подписано помощником Ленинградского управления НКВД, неким Хатеневым.

Поэта пытали бессонницей при круглосуточном ярком электрическом свете, бесконечными допросами, избивали дубинками, терзали мощными струями воды, но он не дал ни на Тихонова, ни на кого другого никаких показаний, а когда впал в полное душевное расстройство, то был помещен в институт судебной психиатрии, сначала в буйное, потом в тихое отделение... Такого, слава Богу, Осипу Мандельштаму испытать не довелось. В октябре 1938 года и Заболоцкий, и Мандельштам были отправлены в битком набитых теплушках на Восток.

Мороз. Вши. Голод. Жажда. Грязь. Вот как вспоминал сам поэт об этом пути:

«Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледеневших оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную, занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фан-

¹ Выделено мной. – *См. К.*

тастические отвесные скалы байкальского побережья... Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...» («История моего заключения»).

Мандельштам умер в декабре 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком (его жена в «Воспоминаниях» благодарит судьбу за то, что из-за слабого здоровья он не доехал до Колымы). А эшелон Заболоцкого, который отправлялся в ту же самую пересылку, где поэты могли встретиться, был внезапно повернут на Север к Комсомольску-на-Амуре, в котором началась его трехлетняя лагерная жизнь.

Лесоповал на морозе, отчаянные попытки выполнить норму, чтобы не угаснуть от дистрофии, потом работа в каменном карьере – кайло, лопата, долбежка шпуров для взрывчатки, сторожевые собаки. Шло строительство довоенного БАМа... Словом, жизнь Ивана Денисовича, но во время которой поэт успевал увидеть многое:

«По ночам черное-черное небо, усеянное скопищем ярких звезд, висит над белоснежным миром. Лютый мороз. Над поселком, где печи топят круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая черное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут, у жилья, в превеликом множестве...».

Три года такой жизни. А потом облегчение – работа чертежником, но начинается война, ужесточение режима, и опять земляные работы. В 1943 году лагерь перебрасывают на Алтай, где поэт вычерпывает со дна озера (там он, по собственным словам, «оставил свое сердце») содовый раствор. Затем его, уже вольнонаемного, но еще ссыльного, перевозят в Казахстан, где лишь в 1945 году он получает полное освобождение.

Семь лет неволи. Но какой силой духа нужно было обладать ему, если в письме жене в ответ на отчаянные женские жалобы о семи годах жестокой разлуки («жизнь так и прошла мимо») он со смиренным достоинством отвечает:

«Ты пишешь – «жизнь прошла мимо». Нет, это неверно. Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже многое пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, – ты поймешь, что *недаром прошли эти годы*; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу, – и она, хотя и израненная, будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде.

Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».

Да, до такой высоты мужественного смирения не подымались ни Солженицын, ни Шаламов, ни Домбровский, ни Волков...

И отношение к Сталину у Заболоцкого было своим, особым. Поскольку он не писал стихотворных фельетонов о нем, то не испытывал перед вождем никакой вины, и ему не было нужды впадать в истерическое покаяние. Сын поэта Никита Заболоцкий в книге «Жизнь Н. А. Заболоцкого» слишком самоуверенно решает за отца, что «никакого преклонения перед «вождем народов мира» поэт не испытывал». Но не случайно же, что имя Сталина появляется в первой редакции стихотворения «Творцы дорог», написанного уже после освобождения:

Кто днем и ночью слышал за собой
Речь Сталина и мощное дыханье
Огромных толп народных, – тот не мог

Забыть о вас, строители дорог.

И в этих строках я не слышу ни одного фальшивого звука. Жена Заболоцкого Екатерина Васильевна после его смерти вспоминала: «Он говорил, что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию поэм «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов», «Сталин». Меня удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне объяснять, что Сталин – сложная фигура на стыке двух эпох. Разделаться со старой этикой, моралью, культурой было ему нелегко, так как он сам из нее вырос. Он учился в духовной семинарии, и это в нем осталось».

Разговор происходил после 1956 года. Однако понимание эпохи социализма в творчестве поэта было еще более сложным, и сводить эту сложность к стихам о Сталине было бы легкомысленным упрощением.

* * *

В 1931 году Осип Мандельштам написал знаменитое стихотворение о «веке-волкодаве», в котором предьявлял счет эпохе. При всей вдохновенной экзальтированности текста в нем четко прописано, какие жертвы готов принести поэт на алтарь истории. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей», «за жизнь без наживы» он готов отказаться «от чаши на пире отцов» (то есть от своего иудейского избранничества, от частицы племенного величия); он приносит эпохе и свою личную жертву – «честь и веселье». Это – договор со временем (своеобразный мандельштамовский Новый завет), гарантирующий ему личное поэтическое бессмертие, и за него можно заплатить самую дорогую цену.

Заболоцкий же не ставил никаких условий, не помышлял о стоимости билета в грядущее, без осуждения и гордыни принимая «все, что Господь ни пошлет», не сводя никаких счетов с «веком-волкодавом». Он нес крест самопожертвования с соборным чувством общей судьбы и со смиренным достоинством:

Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед.
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедром светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги.
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

Стихи написаны в 1947 году, уже после освобождения, так что поэта нельзя подозревать в корысти, что сочинял их в расчете на смягчение своей участи, на лагерные льготы либо на досрочное освобождение... Нет, он писал их как свободный человек, поражаясь своему собственному участию в сотворении мира:

Поет рожок приятно и уныло —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,

В свои права вступает аммонал.

Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры.
И вдруг – удар, и вздрогнула береза,
И взвыло чрево каменной горы.

Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез...

Стихотворение называется «Творцы дорог» – и в нем никакой речи о «шмоне», о «пайках», о «вертухаях», никаких номеров на лагерных бушлатах, никаких покойников с бирками на ногах, разборок с уголовниками, разговоров с «кумом» и прочих атрибутов низкого гулаговского стиля. «Громам наперерез», «сверкающие заступы подняв» – словно Боги, богатыри или титаны, а не какие-то Иваны Денисовичи.

В стихотворении нет и намек на мандельштамовский спор личности с эпохой, оно выражает (кошунственно сказать!) высшую героическую красоту общенародного артельного подвига, совершаемого ради будущих поколений, которым придется жить за счет рудников Норильска, освещать и обогревать жилье энергией волжских гидроэлектростанций, выходить к Охотскому морю по дорогам, пробитым через сопки руками поэта и его подневольных товарищей.

Самоотречение, подобное тому, которое живет разве что в древнегреческих трагедиях, в голосах античного хора...

Оба поэта и Заболоцкий, и Мандельштам, осмысливая XX век, не могли обойтись без постоянной оглядки на античные времена, когда рождалось понятие высокой трагедии. «Гомер степей на пегой лошаденке», «лысое темя Сократа», «читайте, деревья, стихи Гезиода», «Пифагорово пенье светил», «Одиссей и сирены» – это Заболоцкий. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «Останься пеной, Афродита», «Когда бы грек увидел наши игры», «Ахейские мужи во тьме снаряжают коня» – это Мандельштам, уверенный в том, что «поэзия – это чувство правоты», тоскующий по «большому стилю», в который невозможно войти, минуя трагедию, и поэт с ужасом и восторгом призывает ее:

Где связанный и пригвожденный стон,
Где Прометей – скалы подспорье и пособие?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлбья?
Тому не быть: трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Мандельштам жаждет глотнуть воздуха трагедии, чтобы приобщиться к ее древним тайнам, и призывает к себе на помощь тени ее отцов Эхила и Софокла, дерзко пророчествуя о том, что сегодняшние ее творцы и герои могут быть грузчиками или лесорубами... Да, он угадал направление поиска, но не успел выразить в творчестве эпическую, свободную от свое-

вольных лирических излияний, чистую суть трагедии. За него это сделал другой поэт в буквальном смысле Софокл-лесоруб советской эпохи, работавший не где-нибудь, а на таежном лесоповале:

За высокий сугроб закатилась звезда,
Блещет месяц – глазам невтерпеж.
Кедр, владыка лесов, под наростами льда
На бриллиантовый замок похож.

Посреди кристаллически-белых громад
На седом телеграфном столбе,
Оседлав изоляторы, совы сидят,
И в лицо они смотрят тебе.

Запахнув на груди исполинский тулуп,
Ты стоишь над землянкой звена.
Крепко спит в тишине молодой лесоруб.
Лишь тебе одному не до сна.

Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простер
Замурованный льдами Амур.

И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоём городке.

Это он подмигнул в ледяную тайгу.
Это он побратался с тобой,
Чтобы ты не заснул на своем берегу,
Не замерз, околдован тайгой.

Так растёт человеческой дружбы зерно.
Так в январской морозной пыли
Два могучие сердца, сливаясь в одно,
Пламенеют над краем земли.

(Слова-то все какие эпические: «огромный», «исполинский», «могучие»!)

Судьба привела Заболоцкого туда, куда Мандельштам направил свое «моление о чаше»: «в ночь», где, правда, течет не «Енисей», но «Амур» и где «до звезды» достаёт не «сосна», а «кедр»; где над тайгой сияют не «голубые песцы» – а «за высокий сугроб закатилась звезда», но зато есть – льды Амура, лежащие перед глазами «голубой пустыней». Все эти совпадения и переклички слов и образов наводят на мысль, что Заболоцкий знал стихотворение Мандельштама и в известной степени обратился к знакомому сюжету, чтобы изложить его по-своему...

Героика повседневного и естественного самопожертвования досталась в удел Заболоцкому и стала сердцевиной его дальнейшего творчества. Сразу же после освобождения из ссылки он пишет стихотворение «Журавли», в котором еще раз воплощает свое понимание трагедии и философию героизма.

Да, «черное зияющее дуло», словно символ безымянного, безликого, слепого рока, посылает в сердце вожака журавлиной стаи «луч огня», да, это – высокая трагедия, но не только потому, что «частица дивного величья с высоты обрушилась на нас», но еще и потому, что горе утраты преодолевается в очистительном катарсисе, в причастии к бессмертию «стаи», «племени», «народа».

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И рыданию горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

У Заболоцкого его личная трагедия – победа – одновременно трагедия-победа артельная, коллективная или даже общенародная: «Срываясь с круч, мы двигались вперед», «Мы отворяли заступами горы», «И мы стояли на краю дороги». У него кроме двух сил – тиранической эпохи и его собственных – есть третья: античный хор, рок, судьба. Два старика замерзают «где-то в поле возле Магадана». Но, несмотря на все жестокие обстоятельства лагерного быта, естественные и главные у Солженицына или Шаламова («околоток», «наряды в город за мукой», «воровская шайка», «бандитские глотки» и т. д.), их смерть не бытовое явление, не лагерная обыденность, а величественная трагедия (подобная гибели вожака журавлиной стаи), последний акт которой завершается в таком театре и с такими «зрителями», что не снились никаким Софоклам и Эсхилам – чего уж говорить о наших лагерных бытописцах! На героев стихотворения взирают северные светила, сполохи полярного сиянья освещают необозримую сцену, выюга отпевает последние мгновенья их жизни:

Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный,
До людей уже не доходил.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Объяла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела...

Они уже неподвластны лагерной администрации, мирской власти, времени, истории, потому что уходят в вечность, в эпические миры, где блуждают души Антигоны и Эдипа, Гамлета и Отелло, Бориса и Глеба. Стихи звучат как гимн освобождения:

Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

Заболоцкий совершает чудо, выходя в пространство мирового эпоса, в отличие от Мандельштама, который мечтал прорваться в мир трагедии вплоть до последних дней жизни, но не успел осуществить свой замысел и утвердил за собою право говорить всего лишь о своей судьбе: «Мне на плечи бросается век-волкодав», «Сохрани мою речь навсегда», «Я лишился и чаши на пире отцов», «Куда мне деться в этом январе», «Это какая улица? Улица Мандельштама». Закваска вечного протестантизма, суть которой выражена у него в стихах – «против шерсти мира поем», – была неизживаема.

Эпическая роль «вожака» стаи или племени, неестественная для Мандельштама, для Заболоцкого была органична.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно;
И заря над ним образовала —
Золотого зарева пятно.

Зарево, окаймляющее мученические и одновременно героические лики творцов лагерных дорог, магаданских стариков, которые умирают так же, как умирал Седов из стихотворения Заболоцкого, написанного в 1937 году:

Он умирал, сжимая компас верный,
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вокруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.

И недаром стихотворение завершается мольбой автора судьбе, у которой он просит одного: «Так умереть, как умирал Седов».

Все тридцатые годы Заболоцкий неуклонно шел к героическому эпосу, под его пером даже обычные газетно-политические эпизоды советской жизни, имевшие, если говорить сегодняшним языком, лишь «пиаровское» звучание, преображались в сказочные картины:

Там тень «Челюскина» среди отвесных плит,
Как призрак царственный, над пропастью стоит.

Православное подвижничество Заболоцкого заключается в том, что его эпос не эгоистичен, но человечен. В нем, оттесняя автора на второй план, живет множество самых простых, земных, невеликих людей, в чертах которых поэт ищет и находит «образ Божий»: прачки из маленького русского городка, старухи, которая в ссылке протянула ему ломоть поминального хлеба, девочки Маруси, ходоков, пришедших к Ленину. Словом, «старые люди и дети».

Его демонстративно нравоучительные стихи о некрасивой девочке, пламень души которой «всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень», полны простого и высокого очарования. Но они и о себе. Душа поэта тоже перетопила все несправедливые обиды, все унижения в чистое вещество поэзии.

Однако я рискну сделать к этому бесхитростному стихотворению еще один комментарий.

Заболоцкий, – о чем Борис Слуцкий пишет в своих воспоминаниях, – «говорил, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого».

Лидия Корнеевна Чуковская как бы подтверждает это, размышляя об отношениях Заболоцкого и Ахматовой в своих воспоминаниях:

«Бешеная речь Анны Андреевны против «Старой актрисы» Заболоцкого. Она вычитала нечто такое, чего там, на мой взгляд, и в помине нет:

– Над кем он смеется – над старухой, у которой известь в мозгу, над болезнью? Он убежден, что женщин нельзя подпускать к искусству – вот в чем идея! Да, да, там написано черным по белому, что женщин нельзя подпускать к искусству! Не спорьте! И какие натяжки: у девяностолетней старухи десятилетняя племянница. Когда поэт высказывает ложную мысль – он неизбежно провирается в изображении быта...

Она не давала отвечать, она была в бешенстве. Другого слова не подберу...

– Где там написано, что старухе девяносто лет, а девочке десять? – успела я только спросить. Ответом был гневный взгляд».

Но дело было не в том, «допускать» или «не допускать женщин к искусству»... Спор был мировоззренческим – с глубочайшими причинами. У Ахматовой есть стихотворение, написанное в 1942 году в Ташкенте.

Какая есть. Желаю вам другую —
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!
Над Азией – весенние туманы
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!..

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга.
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыне:
Как той, другой – страдальце Марине,
Придется мне напиться пустотой.

Однажды Александр Межиров, когда мы говорили об Ахматовой, прочитал вслух это стихотворение и сказал, что у нее «животное чувство красоты». Может быть. Но меня в стихотворении «Какая есть...» всегда задевало иное: чувство холодного высокомерия, почти презрения к миру простого человеческого бытия.

«Какая есть. Желаю вам другую» – неприятно-надменная интонация. «Пока вы мирно отдыхали в Сочи» – звучит как обвинение в том, что мирно отдыхающие и не подозревают, что за «ночи» ползут к ней. А от обычного, народного слова «люди» («добрые люди») – ее просто трясет, как нечистую силу от ладана: «о, что мне делать с этими людьми!», а заодно и с «чистой природы», и с «невинностью святою»... Еще бы! Она приоткрывается как блюстительница «ночей» (уж не «египетских» ли?), во время которых «всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества», враждебные «святой невинности». Не эта ли тьма своими лучами опалила ее щеки до потустороннего загара, и они «уже людей пугают смуглотой»? Стихотворение звучит как вызов простой «людской», «святой и невинной» жизни, брошенный от имени «ночи» и «гордыни». И потому неизбежно ее обращение к образу Марины Цветаевой, которая была как бы ее сводной сестрой по жизни «в запретнейших зонах естества», в апофеозе и культе смертных грехов, столь родных творцам Серебряного века русской поэзии. «Седой венец достался мне недаром...».

А ведь умный циник Валентин Катаев, младший из сыновей порочного Серебряного века, тоже додумался до того, что рано или поздно и он будет увенчан таким же седым венцом, о чем и написал в книге «Алмазный мой венец»:

«Мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших, серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец... звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу с настойчивой медлительностью, останавливая кровообращение... делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазией Ваятеля...».

Ну что ж, вполне допустима и такая картина Ада, где раскаленные сковородки заменены адским абсолютным холодом... Чует кошка, чье мясо съела.

Да и Анна Андреевна догадывалась, из рук какого «ваятеля» этого венца ей придется принимать «не людскую» награду:

И ты придешь под черной епанчою,
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица.
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белой перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?

Вот за эти-то ночные загадки, за темные тайны, за шашни с «ночными пришлецами», за жизнь «в запретнейших зонах», за высокомерное презрение к «обычному людскому естеству» Заболоцкий всю свою жизнь отворачивался от Ахматовой и старался не замечать ее, видимо, ощущая опасность темной, непросветленной нравственным светом, вызывающе-грешной, «животной» красоты ее поэзии. Не потому ли он демонстративно назвал одно из своих стихотворений «Некрасивая девочка». Оно – антиахматовское по замыслу, по идеям, по чувствам. Ахматова наслаждается жизнью в мире сатанинской, темной, чувственной красоты, Заболоцкий ищет спасения в мире красоты духовной, светлой, божественной. Его девочка, «напоминающая лягушонка», всего лишь «бедная дурнушка», у которой

Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.

Но она «ликует и смеется, охваченная счастьем бытия», для нее «чужая радость также, как своя», она не знает «ни тени зависти, ни умысла худого», а потому образ Божий запечатлен в каждой ее черте, в каждом движении куда явственней, нежели на лице, окаймленном «седым венцом» со «смуглотой», неизвестно почему пугающей людей.

«Придется мне напиться пустотой», – с надменностью, под которой прячется страх, говорит о себе героиня ахматовского стихотворения. Заболоцкий также не может обойтись без роковых слов «красота» и «пустота», но его вера в то, что душа человеческая хранит в себе свет, спасает его от соблазна игры с темными силами.

Стихи Заболоцкого – простые, нравоучительные, почти декларативные, но в их простоте сила молитвы и стилистика Евангелия. Проще молитвенных слов у человечества нет ничего.

И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движении.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

У поэта доставало смирения, чтобы вопросительной интонацией этих строк отдалить их от молитвы на почтительное расстояние... Жалко ему было искусства, которому он служил, но у него хватало сил ставить его в подчинение нравственному, то есть божественному чувству.

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нас чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства.

Две последние строки о старой актрисе, но они могли бы быть написаны и об Ахматовой, о той, которая не без кокетства признавалась в старости перед смертью:

Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.

(1963)

Почему-то мы часто иронизируем над строчкой Маяковского «Товарищ Ленин – работа адская...».

Но слова «адский», «адовый» в поэзии Ахматовой встречаются гораздо чаще, нежели у Владимира Владимировича.

«Демон и ангел России»

Вдова поэта Даниила Андреева в предисловии к его книге «Русские боги», изданной в 1990 году, вспоминает: «На одном из допросов его спросили об отношении к Сталину. «Ты знаешь, как я плохо говорю».

Это была правда, он был из тех, кто пишет, но не любит и не умеет говорить – из застенчивости.

«Так вот, я не знаю, что со мной произошло, но это было настоящее вдохновение. Я говорил прекрасно, умно, логично и совершенно убийственно – как для «отца народов», так и для себя самого. Вдруг я почувствовал, что происходит что-то необычное. Следовательно сидел неподвижно, стиснув зубы, а стенографистка не записывала – конечно, по его знаку».

Этот страстный монолог Андреева был для него тем же самым произведением, что и для Мандельштама роковые стихи о «кремлевском горце». Но на самом деле отношение Андреева к Сталину было куда более сложным, нежели оно изображено в воспоминаниях его жены.

В 1947 году поэт был арестован и получил 25 лет тюремного заключения. Сидел во Владимирской тюрьме, где встречался с Шульгиным, с академиком В. В. Лариным, с сыном генерала Кутепова. В тюрьме писал книги: «Роза мира», «Русские боги», «Железная мистерия»;

Поэт освободился в 1957 году, а умер в 1959-м в возрасте 52 лет. Он был сыном известного русского писателя Леонида Андреева.

Редкой особенностью его взгляда на русскую историю было то, что он, в отличие от большинства современников, считавших революцию и строительство социализма совершенно новым явлением в судьбе России, был убежден, что, несмотря на ее внешнюю ненависть к старому миру, несмотря на кровавый разрыв с ним – ее глубокое, скрытое от глаз неразрывное с ним единство все равно сохраняется. Впрочем, так же, как сохранялось это единство во все катастрофические эпохи – во время перехода от феодальной Руси к России Третьего Рима, а от Третьего Рима Иоанна Грозного к императорской России Петра... Меняются династии, возникают новые сословия, льется кровь – но мистическое единство русской истории продолжается и остается живым.

Находясь в стенах Владимирской тюрьмы, поэт выразил это единство в стихотворении, посвященном Пушкину, который для Андреева был одним из вечных символов связи времен:

Здесь в бронзе вознесен над бурей, битвой, кровью
Он молча слушает хвалебный гимн веков,
В чьем рокоте слились с имперским славословьем
Молитвы мистиков и марш большевиков.

(1950)

Стихи, видимо, написаны в связи с торжествами великого пушкинского юбилея 1949 года – столетия со дня рождения поэта.

Этот образ становится для Даниила Андреева своеобразной «идеей фикс», к ней он так или иначе постоянно возвращается во все последующие годы жизни.

Этот свищущий ветер метельный,
Этот брызжущий хмель веков
В нашей горечи беспредельной
И в безумствах большевиков...

Строфа из стихотворения «Размах» (1950 г.), где путь России через жертвы «и злодеяния» все равно ведет (прямо по-клюевски!) к «безбрежным морям Братства, к миру братскому всех стран...» С особой страстью поэт нащупывал эти связи в начале Великой Отечественной войны, ибо только в них видел победный и кровавый путь Родины и ее спасение от очередного нашествия «двунадесяти языков» Европы, возглавляемого духом Германии:

Как призрак, по горизонту
От фронта несется он к фронту,
Он с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью.

В то время так о мистической сущности войны не писал никто.

Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые,
И смотрит загадочным взором
И Ангел и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края и меры,
В поля, необъятные оку,
К востоку, к востоку, к востоку.

Но что может их остановить? Только союз двух сил – народной, русской стихии и воли строителя нового государства. И Даниила Андреева пишет жуткое и загадочное стихотворение об эвакуации мумии Ленина из Мавзолея осенью 1941 года. Тело вывезено «из Зиккурата» ... «в опечатанном вагоне» на восток, на берега Волги, а дух его, «роком царства увлекаем», как

тень, поселяется в сердце Кремля, в стенах, где склоняется над картами небывалых сражений продолжатель ленинского дела, укрепляемый этим духом, который

Реет, веет по дворцу
И, просачиваясь снова
Сквозь громады бастионов,
Проникает в плоть живого —
К сердцу, разуму, к лицу.

Андреев проникает в сверхъестественные сферы жизни, когда показывает, откуда и как черпают энергию тираны, диктаторы, «вожди всех времен и народов», «чудотворные строители» – как они передают свою силу и волю друг другу, что и случилось вовремя эвакуации тела Ленина на Восток:

И не вникнув мыслью грузной
В совершающийся ужас,
С тупо-сладкой мутной болью
Только чувствует второй,
Как удвоенная воля
В нем ярится, пучась, тужась,
И растет до туч над грустной
Тихо плачущей страной.

(1942 – 1952)

В сущности, Даниил Андреев проникает в тайну того события, когда Сталин во время знаменитого парада 7 Ноября 1941 года произнес ошеломившие мир слова о связи ленинского дела с деяниями Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова и поставил их всех – вождей и полководцев тысячелетней России – под одно Знамя, объединив, как по волшебству, враждующие времена. Перед такого рода картиной (если принять ее) становятся ничтожными и плоскими рассказы нынешних историков о том, что минувшие 70 лет России – это «черная дыра», «тупиковый путь», бессмысленно потраченная эпоха. В этой мистической речи вождь повторил и предвосхитил поэтическое мировоззрение Андреева: поэт в те дни, когда Сталин стоял на заснеженном Мавзолее, писал стихи-молитву, обращаясь к Творцу:

Учи ж меня! Всенародным ненастьем
Горчащему самозабвению учи,
Учи принимать чашу мук, как причастье,
А тусклое зарево бед – как лучи!

Когда же засвищет свинцовая выюга
И шквалом кипящим ворвется ко мне —
Священную волю сурового друга
Учи понимать меня в судном огне.

(1941)

Я не буду расшифровывать – кого это поэт называет «суровым другом»... Впереди его ждет «чаша мук». Но он смутно догадывается, что такого рода «чудотворные строители» – неподсудны обычному человеческому суду:

Как покажу средь адской темени
Взлет исполинских коромысел
В руке, не знавшей наших чисел,
Ни нашего добра и зла?

Это сказано обо всех сделанных из одного сверхпрочного сплава российской истории – об Иоанне, Петре, Иосифе, при котором страна уже была под стать диктатору: не «грустная и тихо плачущая», но яростная, гневная, поднимающаяся на дыбы. Какой высшей волей можно было объединить анархическую многоликую, многоплеменную русскую вольницу для борьбы с орднунгом тевтонским, с его колоннами, сокрушившими дряхлую Европу?

С холмов Москвы, с полей Саратова,
Где волны зыблются ржанные,
С таежных недр, где вековые
Рождают кедры хвойный гул,
Для горестного дела ратного
Закон спаял нас воедино
И сквозь сугробы, судры, льдины
Живою цепью протянул.

Даниил Андреев рисует поистине апокалипсическую картину всенародного сверхнапряжения, мобилизованного и исторгнутого из народного чрева не просто «законом», но – и он понимал это – волей вождя, вдохавшей энергию в ледовую «Дорогу жизни», единственную ниточку, соединившую Город Петра и Ленина с Россией:

Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:
Мы – инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие —
Мы злые псы народной псарни,
Куросые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

Только такой «сверхнарод», как назвал его Даниил Андреев, мог победить жестокую орду «сверхчеловеков». Поэт, в те времена служивший в похоронной команде, видел вымиравший, но не сдающийся Ленинград, несколько раз проходил туда и обратно через Ладогу – по ледовой «Дороге жизни», – и он, конечно же, понимал, что мы устояли не просто благодаря закону или морозу:

Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы – испытанье; в вас – награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.

Образ императора и образ вождя, которые, каждый по-своему, заковывали «русскую расу» «в броню», у поэта сливаются, совмещаются, расплываются и снова накладываются друг на друга; и тот и другой поднимают Россию «на дыбы», не позволяя народу расслабляться, жить по своей воле, разбойничать, проматывать наследие великих строителей России. Поэт всю свою жизнь слышал «глагол и шаг народодержца сквозь этот хаос, гул и вой».

Не просто «самодержца» – это грозное слово для Андреева не до конца выражает суть русской истории, и поэт усиливает его значение – «народодержца», чтобы потом найти еще один грозный синоним: «браздодержец».

О том же Петре поэт пишет как о преемнике не Алексея Михайловича, а Иоанна Грозного, потому что Петр унаследовал его созидательный голод, который:

Все возрастал, ярился, пух, —
И сам не зная, принял царь его
В свое бушующее сердце,
Скрестив в деяньях самодержца
Наитья двух – и волю двух.

Не так ли и Сталин у поэта, вбирая в себя волю Ленина, Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, становился осенью 1941 года вдвое сильнее, о чем Андреев говорит теми же словами: «Как удвоенная воля в нем ярится, пучась, тужась».

В такие исторические минуты все личные счета исчезают, сгорают, испаряются в раскаленном чреве истории:

Страна горит; пора, о Боже,
Забывать кто прав, кто виноват.

Знаменательно, что буквально в то же самое время знатная петербурженка, внучка великого русского композитора Римского-Корсакова Ирина Владимировна Головкина в автобиографическом романе «Побежденные» – о жизни дворянской семьи в первые 20 лет советской власти, жизни, полной страха, унижений, гибели родных и близких, – выражает своими словами те же мысли и чувства о связи «имен и времен», которыми жил в 1941 году Даниил Андреев:

«Большевизм... процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно – вмешательством извне притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лика, конечно, страшно искаженные... Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но я так прочла в своей душе! Сейчас нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошибалась в сроках великой битвы, я ошибалась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты! Россия спасет себя сама, изнутри».

Вот совершенная, святая формула патриотизма русской женщины, дворянки, безмерно пострадавшей от большевиков, рядом с которой ненависть к сталинской России еврейской революционерки Анны Берзинь кажется омерзительной и ничтожной.

Леонид Бородин в своих недавних воспоминаниях «Без выбора» предположил, что этот монолог «о большевизме» был вписан в текст романа «Побежденные» сотрудниками Лубянки. Но, во-первых, таким пламенным и высоким штилем вряд ли они владели. А во-вторых, он путает «руку Лубянки» с дланью русской истории. И в-третьих: как похожи трагические признания русской патриотки на выстраданные всей судьбой чеканные строфы Даниила Андреева о русских сверхцарях, сверхимператорах, сверхгенсеках, а говоря проще, о вождях, появляющихся в роковые минуты русской жизни:

Лучше он, чем смерть народа.
Лучше он;
Но темна его природа,
Лют закон.
.....
Жестока его природа,
Лют закон,
Но не он – так смерть народа.
Лучше – он!

Даниил Андреев, умерший почти полвека тому назад, сегодня бросает нам, ослабевшим, опустившимся, готовым признать все нынешние обвинения в «имперском мышлении», в «великодержавности», в «тоталитаризме», бросает в наши растерянные, бледные лица яростное проклятье за то, что мы свернули с вечного пути России и предали ее историческое призвание, продиктованное Высшей Волей. Поэт в своей жертвенной страсти бесстрашно пытается разглядеть, чью волю – адскую или небесную – выполняют русские вожди-цари, вожди-императоры, вожди-генсеки, для которых он находит особое слово – «уицраоры», и молит Создателя о том, чтобы это слово означало, в сущности, то, что когда-то называли «Бич Божий».

Пусть демон великодержавия
Чудовищен, безмерен, грозен;
Пусть миллионы русских оземь
Швырнуть ему не жаль. Но Ты, —
Ты от разгрома и бесславья
Ужель не дашь благословенья

На горестное принесенье
Тех жертв – для русской правоты?

Пусть луч руки благословляющей
Над уицраором России
Давно потух; пусть оросили
Стремнины крови трон ему;
Но неужели ж – укрепляющий
Огонь твоей Верховной воли
В час битв за Русь не вспыхнет боле
Над ним – в пороховом дыму?

Написано не где-нибудь, а во Владимирской тюрьме при жизни Сталина. А в эти же военные годы Даниилу Андрееву и Римской-Корсаковой из далекой оккупированной Франции подает голос злейший враг советской власти Иван Алексеевич Бунин:

«Думал ли я, что сейчас, когда Сталин находится на пути в Тегеран, я буду с замиранием сердца переживать, чтобы с ним ничего не случилось».

И что бы ни говорил поэт во время допроса в 1956 году об «отце народов» («нечто убийственное», как вспоминает его вдова), высшее знание и высшая истина об «уицраорах России», и в их числе о Сталине, высказана не подследственным Даниилом Андреевым, но автором таинственных книг «Роза мира», «Русские боги», «Изнанка мира».

Бенедикт Сарнов в своих размышлениях об Осипе Мандельштаме с высоты своего исторического образования высокомерно упрекает поэта:

«Мандельштаму показалось, что Петербургский период истории продолжается». Но это «показалось» и Даниилу Андрееву, и Римской-Корсаковой, и Ярославу Смелякову («Петр и Алексей»), и Алексею Толстому («Петр Первый»), и Михаилу Пришвину («Осударева дорога») ... Одному Сарнову, видите ли, «не показалось»...²

«Строят и строят. Строят твердыню трансфизической державы на изнанке Святой Руси. Строят и строят. Не странно ли? Даже императрицы века напудренных париков и угодий с десятками тысяч крепостных крестьян строили ее и строят. И если время от времени новый пришелец появляется в их ряду, его уже не поражает, что карма вовлекла его в труд рука об руку с владыками и блюстителями государственной громады прошлого, которую при жизни он разрушал и на ее месте строил другую. Чистилища сделали его разум ясней, и смысл великодержавной преемственности стал ему понятен» («Изнанка мира»). Эти слова применимы к любому из властителей тысячелетней России. И к Сталину тоже.

Даниил Андреев с его мистическими озарениями, в отличие от Осипа Мандельштама, от Николая Заболоцкого и Ярослава Смелякова, – был сосредоточен на одном: разгадать тайну «уицраоров», правивших «сверхнародом». Кто они, посланники тьмы или света? Разрушители или созидатели? И не из одного ли теста вылеплена их сущность, что косвенно всегда подтверждалось страстным интересом каждого из них к своим предшественникам, а также фатальным сходством их судеб и характеров... Первым в этой мистической родословной был Иоанн Грозный, в котором воплотился «и ангел и демон России»:

² В завершение этого сюжета могу сказать Бородину, пытающемуся везде видеть «руку Лубянки», что рукопись «Побежденных» попала в журнал в 1991 году не из архивов КГБ, а от подружки уже умершей к тому времени Римской-Корсаковой, актрисы Янсон, которая живет до сих пор в Москве и может подтвердить «чистое» происхождение рукописи романа.

Так избрал он жертвой и орудием,
Так внедрился в дух и мысль того,
Кто не нашим – вышним правосудием
Послан был в людское естество, —
Браздодержец русских мириад,
Их защитник, вождь и родомысл,
Направляющий подъем и спад
Великороссийских коромысл.

(Февраль, 1955. Владимирская тюрьма)

Современник Даниила Андреева Ярослав Смеляков, трижды получавший тюремные сроки, как будто предвидя появление всяческих волкогиновых и сарновых, предупреждал их от пошлого легкомыслия и высокомерного амигошонства, когда создавал в своем воображении сцену, как якобы однажды он подошел в Кремле к креслу Иоанна Грозного.

И я тогда, как все поэты,
мгновенно безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это
как бы играючи присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла,
и молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

.....

Урока мне хватило слишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился пошутить?

Пошутить над уицраорами, над ангелами и демонами России, продолжавшими в русской истории во все времена одно и то же великое дело?! Нет, Смеляков не шутил, и все три имени – Иоанн, Петр и Иосиф – живут в его поэзии.

Даниил Андреев знал, что он, четвертьвековой узник сталинской тюрьмы, рискует быть не понятым грядущими поколениями, освободившимися от воли «русских уицраоров». Он как бы предчувствовал, что будущие люди не сумеют подняться до высот его мистических озарений, что они на пошлом газетно-телевизионном уровне оболгут всех вождей и императоров, с их «тоталитаризмом», «авторитарностью», с их «парадигмой несвободы», казармами, ГУЛАгами и смершами, и потому постарался оградиться от этой мелкой бесовщины меловой чертой:

О, я знаю: похвалу историка
Не стяжает стих мой никогда...

.....

Пусть другие о столетях канувших
Повествуют с мерной простотой
Или песней, трогающей за душу,
Намекнут о жизни прожитой.
Я бы тоже пел о них, когда б
Не был с детства – весь от глаз до рук
Странной вести неподкупный раб,
Странной власти неизменный друг.

(Апрель 1951)

«Песней, трогающей за душу» – ну, это почти провидчески сказано и о «Протопи ты мне баньку по-белому» Высоцкого, и об Алешковском с его «Товарищ Сталин, Вы большой ученый...», о псевдонародных песнях-фельетонах Галича и еще о многом, многом, многом... Но свидетельства Даниила Андреева для меня перевешивают все бытовые мелодраматические сюжеты подобного рода сочинений, написанных в безопасную для творцов пору, когда эра харизматических владык почти закончилась и всех мертвых львов стало дозволено лягать с наслаждением и немалой выгодой. Но всегда, как бы ни повернулась история, человечество будет рождать сыновей, которые с волнением прочитают:

Хочешь – верь, а хочешь – навсегда
Эту книгу жгучую отбрось,
Ибо в мир из пламени и льда,
Наклонясь, уводит ее ось...

Тоталитаризм, то есть всеобщее, предельное напряжение сил «сверхнарода», рождается только тогда, когда стоит выбор между жизнью и смертью. Пугать народ им во времена вялого, бессильного, безвольного течения истории – дело пустое и корыстное.

Терновый венец

Перебирая свой архив, я нашел недавно четвертушку бумаги, на которой было несколько строк:

«На днях бюро секции поэтов приняло в Союз писателей Станислава Куняева. Он человек одаренный, а в его книге «Землепроходцы» есть немало хороших современных стихотворений. Но, как мы говорили ему на бюро, у него нередко бывают формалистические игрушки, легкомысленная игра в слова. Когда эта игра идет вокруг незначительных тем, она еще более-менее терпима. А в данном, стихотворении о Кубе она выглядит совершенно неуместно и погубила стихотворение. Не буду приводить цитат, так как для

этого надо было бы разбирать почти все стихотворение целиком. Печатать стихи решительно нельзя.

Я. Смеляков».

Стихи мои были о кубинской революции, о лозунге «Родина или смерть». Из отзыва видно, что я не ходил в его любимцах. Что было чистой правдой.

Он, до последнего вздоха преданный эпохе социализма, истово верующий в ее историческое величие, никогда ни на йоту не сомневавшийся в ее правоте, умер 27 ноября 1972 года, в день моего рождения.

Нет, не прост был этот белорус, впервые арестованный «за моральное разложение» в конце 1934 года. Тогда при обыске в его квартире была найдена книга Гитлера «Моя борьба». А потом – финский плен, а после вызволения из плена подневольная работа на тульских шахтах, в 1951 году еще один арест и еще три года лагерной жизни в Инте. Но ему повезло больше, нежели его друзьям – Борису Корнилову и Павлу Васильеву: где они похоронены – не знает никто. Вроде бы проклинать должен был поэт это время, но вспоминаю, как его жена Татьяна Стрешнева на смеляковской даче в Переделкине незадолго до смерти поэта с ужасом и восторгом рассказывала мне:

«Я иногда слышу, как он во сне бредит, разговаривает. Так вы не поверите: однажды прислушалась и поняла, что он с кем-то все спорит, все советскую власть отстаивает!».

Впрочем, я это понял гораздо раньше, когда прочитал его некогда знаменитые 1947 года стихи, крамольные для нынешнего времени:

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.
Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Стихи не о выполнении каких-то хозяйственных планов, не о достижении успехов в личной судьбе, это – о строительстве небывалой в истории человечества цивилизации.

Конечно, Смеляков понимал, что ее созидание требует непомерных жертв, и главный вопрос, мучивший его всю жизнь, был таков: что определяло эти жертвы – принуждение или добрая воля? Если принуждение – то великая цивилизация строится на песке и рано или поздно ее домны и Башни Терпения пошатнутся. Если жертвы добровольны и над ними мерцает венчик священного, религиозного в полном смысле слова пламени, тогда они ни за что не канут в небытие и забвение...

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,

но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.
Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

.....
Такими на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегатов,
молчащие лица труда.

(1940)

Но такими ли они были, эти лица, на самом деле? Ведь о том же времени и о тех же людях Андрей Платонов пишет свой «Котлован», где эти лица «стираются о революцию» и выглядят совершенно иначе. Но Смелякову я верю больше. В его стихотворенье нет ни одного фальшивого звука, никакого литературного шукачества, оно совершенно и самодостаточно, а если вспомнить еще две его строфы, не вошедшие в канонический текст, то глубина понимания поэтом народного самопожертвования в эпоху первой пятилетки покажется просто пророческой. Откуда возникла делегатка в нимбе красной косынки? Конечно же, из крестьянской избы.

Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

И опять ни одного лживого слова. Все – правда. Правда самопожертвования...

Когда наемные лакеи нынешней идеологической перестройки кричат о десятках миллионов крестьян, якобы ставших лагерной пылью, я перечитываю Смелякова и верю ему, говорящему, что крестьянское сословие в 30-е годы не легло в вечную мерзлоту, а стало в своей

численной основе летчиками, рабочими, итээровцами, врачами, студентами, машинистами, рабфаковцами, партийными работниками, поэтами, солдатами новой цивилизации.

У моей калужской бабки, крестьянки, было четверо детей. Сын стал летчиком первого призыва, одна дочь врачом, другая – диспетчером железной дороги, третья – швеей и потом директором швейной фабрики. Читаешь, бывало, некрологи 70 – 80-х годов – хоронят академика, военачальника, секретаря обкома, народного артиста, известного писателя – и видишь, что все они – вчерашние крестьянские дети... Об этом трудном, но неизбежном для народного будущего превращении крестьянства в другие сословия Смеляков размышлял всю жизнь. Всю жизнь он жаждал точно определить, из какого материала создан жертвенный нимб, окаймляющий лики «делегаток» и «делегатов», лики чернорабочих социалистической цивилизации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.